

НАДЕЖДА

ТЭФФИС



МОЯ  
ЛЕТОПИСЬ

ВОСПОМИНАНИЯ

Надежда Тэффи

**Моя летопись. Воспоминания**

«Центрполиграф»

УДК 93/94

ББК 63.3(2Рос-Рус)535+63.3(0)6+63.3(2)6

## **Тэффи Н.**

Моя летопись. Воспоминания / Н. Тэффи — «Центрполиграф»,

ISBN 978-5-227-09876-4

Надежда Александровна Тэффи (настоящая фамилия Лохвицкая) была настоящей литературной звездой в России начала XX века. Острый ум, элегантный стиль, способность видеть яркие стороны жизни и делиться своими наблюдениями с читателем делали ее произведения буквально всенародно любимыми. Но как это часто бывает у мастеров ироничной прозы, смех Тэффи был смешан со слезами. Особенно заметно это в воспоминаниях писательницы — о старой, навсегда ушедшей России, о Гражданской войне, о вынужденном пути в эмиграцию, о друзьях и знакомых из числа творческой интеллигенции и их душевных метаниях и непростом выборе своей судьбы в революционной России... В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 93/94

ББК 63.3(2Рос-Рус)535+63.3(0)6+63.3(2)6

ISBN 978-5-227-09876-4

© Тэффи Н.

© Центрполиграф

## Содержание

Предисловие	7
Воспоминания	10
Конец ознакомительного фрагмента.	29



A handwritten signature in Cyrillic script, which appears to be 'Н. Тэффи'.

**Надежде Тэффи**  
**Моя летопись. Воспоминания**



Москва  
ЦЕНТРОЛИГРАФ

© «Центрполиграф», 2023



## Предисловие

Надежда Александровна Тэффи (настоящая фамилия Лохвицкая) была яркой литературной звездой в России начала XX века. Острый ироничный ум, элегантный стиль, способность видеть забавные стороны жизни и делиться своими наблюдениями с читателем делали ее произведения буквально всенародно любимыми.

Среди ее поклонников были такие разные люди, как В.И. Ленин, вместе с которым Тэффи довелось поработать в одной газетной редакции (о чем она с юмором рассказывала, оказавшись после революции в парижской эмиграции), и император Николай II (приближенные вспоминали, как он в шутку предложил все сборники, готовящиеся к 300-летию Дома Романовых, составлять исключительно из очерков Тэффи).

Надежде Тэффи были подвластны разные литературные жанры – проза, газетная публицистика, фельетоны, пародии, пьесы, стихи... В эмиграции она раскрылась как блестящая мемуаристка. Хотя мемуары ее столь же разноплановы, как и другие произведения писательницы.

Книга Надежды Тэффи, озаглавленная просто «Воспоминания», рассказывает о коротком, но драматичном, даже трагическом периоде ее жизни – Гражданской войне и обстоятельствах, вынудивших писательницу навсегда оставить Россию. В Москве в трудном и голодном 1919 году Тэффи получила неожиданное предложение отправиться на гастроли в «хлебную» Одессу, чтобы как-то поддержать свое существование. Речь шла всего лишь о поездке в более благополучный южный регион продолжительностью в один месяц.

«Прощай, Москва, милая. Не надолго. Всего на месяц. Через месяц вернусь... А что потом будет, об этом думать нельзя», – говорила себе Тэффи перед отъездом.

Но стоило покинуть дом, революционные вихри закрутили Надежду Тэффи, как листок, оторвавшийся от своей ветки, и понесли навстречу испытаниям и приключениям, порой смертельно опасным. Путь лежал через места, занятые красными или белыми, немецкими оккупационными войсками, а то и окровавленными бандитами... Только мужество и некоторая бесшабашность, присущая Надежде Тэффи, помогли ей не просто преодолеть этот путь, но и вспоминать о нем с юмором. А ведь было в пути не только смешное, но и ужасное – расстрельный ров, на который случайно набрели в маленьком местечке Тэффи и ее коллеги в ожидании отъезда, люди, умирающие рядом с ней в вагоне от ран и болезней, тяжелейшая «испанка», перенесенная в холодной, продуваемой всеми ветрами гостинице, петлюровцы, ходившие по домам и гостиницам с обысками... И человеческая жизнь, которая не стоит уже ничего...

«Убитые! Раненые! Как мы привыкли к этим словам. Никого они не смущают и ни у кого не вызывают возгласа „Какой ужас! Какое горе!“, – писала Тэффи. – Все думают просто, в условиях нового нашего быта: „Раненых следует перевязать, убитых надо бы выгрузить“. „Раненые“ и „убитые“ – это слова нашего быта. И сами мы... немножко позже вполне можем стать и ранеными, и убитыми».

В конце концов, оказавшись на палубе корабля, увозившего эмигрантов от родных берегов, Тэффи с большой болью попрощалась с родиной... Даже скупые строки, которыми она описывает свое состояние, показывают, как тяжело Надежде Александровне было уезжать. Несмотря ни на что...

«Дрожит пароход, бьет винтом белую пену, стелет по берегу черный дым. И тихо-тихо отходит земля.

Не надо смотреть на нее. Надо смотреть вперед, в синий широкий свободный простор... Но голова сама поворачивается, и широко раскрываются глаза и смотрят, смотрят...

И все молчат. Только с нижней палубы доносится женский плач, упорный, долгий, с причитаниями...»

Над своими воспоминаниями писательница работала в эмиграции, и они окрашены ностальгической тоской. Даже если вспоминались далекие детство и юность, и Тэффи находила в давних событиях много забавного, рядом пряталась грусть.

Несколько очерков о начале ее литературного пути объединяет название одного из них – «Как я стала писательницей». Написаны и опубликованы они были в разное время и в разных изданиях: «Как я стала писательницей» в «Иллюстрированной России» (Париж) в 1934 году, «Первое посещение редакции» в газете «Сегодня» (Рига) в 1929-м, а «Псевдоним» в «Возрождении» (Париж) в 1931-м. И вроде бы рассказывают они об одном, но каждый по-разному.

Однако девочка-гимназистка с листком своих стихов в руке далеко не сразу превратилась в маститую писательницу, которая назло редактору, отвергнувшему когда-то эти стихи, снова и снова публикует их в дни своей славы в разных журналах, считающих такую публикацию за честь. Тэффи никогда не касалась в воспоминаниях тем глубоко личных – например, своего неудачного брака, на который было потрачено десять лет жизни, прежде чем она вступила на литературное поприще.

Ее жених, Владислав Петрович Бучинский, происходил из семьи с польскими корнями (он даже придерживался римско-католического вероисповедания, как его предки), окончил Императорское училище правоведения и служил судебным следователем в Тихвине. Там же, в Тихвине, молодые и обвенчались, а после рождения старшей дочери Валерии переехали в имение родителей мужа, в Могилевскую губернию.

Имение находилось в 9 верстах от городка Мстиславля, и муж нашел себя в общественных делах – был членом местного Мстиславского комитета отделения общества Красного Креста, председателем уездного общественного собрания... Надежда же находилась в усадьбе как в заточении, ей отводилась исключительно роль жены и матери. У супругов родилось трое детей, и, по мнению мужа, детская комната была единственным подходящим для нее местом.

Родные, близкие, друзья, общество, блестящая Северная столица, театры, поэтические вечера – все осталось где-то далеко. Только муж, у которого с годами все сильнее развивался деспотизм, и свекор, у которого деспотизм давно и основательно развился, составляли круг общения Надежды Александровны.

Какие «невидимые миру слезы» лились за оградой усадьбы Бунинских, Надежда Тэффи так никогда и не раскрыла. Но через десять лет она порвала с мужем, и даже то, что при разводе он не отдал ей детей, не смогло ее остановить.

Теперь ей надо было заново выстраивать свою разбитую жизнь. Вот тут-то и пришел на помощь литературный талант и юмор... Но привычка прятать слезы за улыбкой осталась у Надежды на всю жизнь.

В редакциях газет и журналов появилась уже не юная застенчивая девочка с первыми поэтическими зарисовками, а взрослая умная женщина с большим житейским опытом, понимавшая психологию людей и умевшая рассказать об этом. Тэффи быстро стала необыкновенно популярна, ее рассказы и очерки печатали модные журналы, ее пьесы шли в лучших театрах, артисты готовили эстрадные программы по ее произведениям и исполняли песни на ее стихи. Мало кто знал, какой ценой был оплачен этот успех...

Тэффи почувствовала себя своей и среди самых известных литераторов, и среди эстетствующей богемы Серебряного века, и среди радикальных политиков. Ее приняли все... прежде всего – за талант.

«Нередко, когда Тэффи хотят похвалить, говорят, что она пишет как мужчина. По моему, девяти десятым из пишущих мужчин следовало бы у нее поучиться безукоризненности русского языка», – говорил о Тэффи Александр Куприн.

Множество ярких, талантливых, знаменитых людей оказались в орбите Надежды Тэффи, и позже, в эмиграции она постаралась о них рассказать. Очень тактично, по-доброму. Даже присущие ей шуточные замечания никого не оскорбляли, просто подчеркивали необычные



черты характера, присущие знакомым ей людям. А если уж она и относилась к кому-то строже, чем к другим, то сама от этого страдала... Работая над воспоминаниями о Дмитрие Мережковском и Зинаиде Гиппиус, к которым она отнеслась строже, чем к остальным, Тэффи приболела и писала знакомым, что в ее болезни «виноваты Мережковские» и что Гиппиус является ей в кошмарах.

Наверное, из всех произведений Надежды Тэффи самая сложная литературная судьба оказалась у книги воспоминаний «Моя летопись». Очерки о своих знакомых и друзьях, прежде всего – известных писателях и политиках, она публиковала в периодической печати много лет. После Второй мировой войны Тэффи собрала этот материал, составив книгу воспоминаний, и направила ее в США, в нью-йоркское издательство им. А.П. Чехова. По каким-то причинам книга опубликована не была, рукопись лежала в издательстве без всякого движения.

В 1952 году Надежда Александровна Тэффи умерла, так и не увидев «Мою летопись» изданной. Через какое-то время издатели передали рукопись книги дочери Надежды Тэффи В.В. Грабовской (Бучинской). Вскоре очерки из книги стали появляться в парижском журнале «Возрождение».

Дочери Надежды Александровны, выросшие без нее, были воспитаны в польских традициях. Валерия Грабовская, старшая дочь Надежды Тэффи, во время войны работала в аппарате польского правительства в изгнании в Великобритании и потом жила в Лондоне. Младшая дочь, Елена Бучинская, актриса и танцовщица, обосновалась в Варшаве. Судьба сына Надежды Тэффи Янека остается неизвестной. В XX веке с его революциями и страшными войнами о судьбах многих людей даже предположения строить сложно. Бывший муж Надежды Тэффи Владислав Бучинский предположительно погиб в 1918 году при невыясненных обстоятельствах. Возможно, что-то случилось и с сыном...

Дочь Валерия сблизилась с матерью в последний период жизни Надежды Тэффи. Они переписывались, встречались... А оказавшиеся в руках Валерии Грабовской после смерти матери бумаги и рукописи, включая неизданную книгу Надежды Александровны Тэффи «Моя летопись», дочь в 1953 году передала в США, в архив при Колумбийском университете. К сожалению, это сделало рукописи почти недоступными для российских исследователей. Только небольшая часть материалов из архива Н.А. Тэффи, оказавшегося в США, была опубликована Е.М. Трубиловой в сборнике «Творчество Н.А. Тэффи и русский литературный процесс первой половины XX века» (М., 1999). Документы вместе с комментариями заняли в публикации всего 9 страниц...

В РГАЛИ была обнаружена рукопись «Моей летописи», но исследователи творчества Н.А. Тэффи, например С.С. Никоненко, не считают ее авторской. Это подборка разнородных материалов – газетных вырезок, машинописных листков, напечатанных на разных машинках и на разной бумаге, и т. д., без общей нумерации и оглавления. Составляла ее явно не Тэффи. Похоже на «самиздат» кого-то из эмигрантов, друзей Надежды Тэффи, вместе с бумагами которого эта папка оказалась в России и была в конце концов передана в Архив литературы и искусства.

Единственным достоверным источником текстов очерков «Моей летописи» остаются зарубежные периодические издания русской эмиграции – «Сегодня», «Новое русское слово», «Возрождение», в которых Надежда Тэффи публиковала свои воспоминания в течение долгих лет (в «Возрождении» они выходили в авторской редакции и после ее смерти).

## Воспоминания

Автор считает нужным предупредить, что в «Воспоминаниях» этих не найдет читатель ни прославленных героических фигур описываемой эпохи с их глубокой значимости фразами, ни разоблачений той или иной политической линии, ни каких-либо «освещений и умозаключений». Он найдет только простой и правдивый рассказ о невольном путешествии автора через всю Россию вместе с огромной волной таких же, как он, обывателей. И найдет он почти исключительно простых, неисторических людей, показавшихся забавными или интересными, и приключения, показавшиеся занятными, и если приходится автору говорить о себе, то это не потому, что он считает свою персону для читателя интересной, а только потому, что сам участвовал в описываемых приключениях и сам переживал впечатления и от людей, и от событий, и если вынуть из повести этот стержень, эту живую душу, то будет повесть мертва.

*Автор*

### 1

Москва. Осень. Холод.

Мое петербургское житье-бытье ликвидировано. «Русское слово» закрыто. Перспектив никаких.

Впрочем, есть одна перспектива. Является она каждый день в виде косоглазого одессита антрепренера Туськина, убеждающего меня ехать с ним в Киев и Одессу, устраивать мои литературные выступления.

Убеждал мрачно:

– Сегодня ели булку? Ну, так завтра уже не будете. Все, кто может, едут на Украину. Только никто не может. А я вас везу, я вам плачу шестьдесят процентов с валового сбора, в «Лондонской» гостинице лучший номер заказан по телеграфу, на берегу моря, солнце светит, вы читаете рассказ-другой, берете деньги, покупаете масло, ветчину, вы себе сыты и сидите в кафе. Что вы теряете? Спросите обо мне – меня все знают. Мой псевдоним – Гуськин. Фамилия у меня тоже есть, но она ужасно трудная. Ей-богу, едем! Лучший номер в «Международной» гостинице.

– Вы говорили – в «Лондонской»?

– Ну, в «Лондонской». Плоха вам «Международная»?

Ходила, советовалась. Многие действительно стремились на Украину.

– Этот псевдоним, Гуськин, – какой-то странный.

– Чем странный? – отвечали люди опытные. – Не страннее других. Они все такие, эти мелкие антрепренеры.

Сомнения пресек Аверченко. Его, оказывается, вез в Киев другой какой-то псевдоним. Тоже на гастроли. Решили выехать вместе. Аверченкин псевдоним вез еще двух актрис, которые должны были разыгрывать скетчи.

– Ну, вот видите! – ликовал Гуськин. – Теперь только похлопочите о выезде, а там все пойдет, как хлеб с маслом.

Нужно сказать, что я ненавижу всякие публичные выступления. Не могу даже сама себе уяснить почему. Идиосинкразия. А тут еще псевдоним – Гуськин, с процентами, которые он называет «порценты». Но кругом говорили: «Счастливая, вы едете!», «Счастливая – в Киеве пирожные с кремом». И даже просто: «Счастливая... с кремом!»

Все складывалось так, что надо было ехать. И все кругом хлопотали о выезде, а если не хлопотали, не имея на успех никаких надежд, то хоть мечтали. А люди с надеждами неожиданно находили в себе украинскую кровь, нити, связи.

– У моего кума был дом в Полтаве.

– А моя фамилия, собственно говоря, не Нефедин, а Нехведин, от Хведько, малороссийского корня.

– Люблю цыбулю с салом!

– Попова уже в Киеве, Ручкины, Мельзоны, Кокины, Пунины, Фики, Шпруки. Все уже там.

Гуськин развил деятельность.

– Завтра в три часа приведу вам самого страшного комиссара с самой пограничной станции. Зверь. Только что раздел всю «Летучую мышь». Все отобрал.

– Ну уж если они мышей раздевают, так где уж нам проскочить!

– Вот я приведу его знакомиться. Вы с ним полюбезничайте, попросите, чтобы пропустил. Вечером поведу его в театр.

Принялась хлопотать о выезде. Сначала в каком-то учреждении, ведающем делами театральными. Там очень томная дама, в прическе Клео де Мерод<sup>1</sup>, густо посыпанной перхотью и украшенной облезлым медным обручем, дала мне разрешение на гастроли.

Потом в каких-то не то казармах, не то бараках, в бесконечной очереди, долгие, долгие часы. Наконец солдат со штыком взял мой документ и понес по начальству. И вдруг дверь распахнулась и вышел «сам». Кто он был – не знаю. Но был он, как говорилось, «весь в пулеметах».

– Вы такая-то?

– Да, – призналась. (Все равно теперь уж не отречешься.)

– Писательница?

Молча киваю головой. Чувствую, что все кончено, – иначе чего же он выскочил.

– Так вот, потрудитесь написать в этой тетради ваше имя. Так. Проставьте число и год.

Пишу дрожащей рукой. Забыла число. Потом забыла год. Чей-то испуганный шепот сзади подсказал.

– Та-ак! – мрачно сказал «сам».

Сдвинул брови. Прочитал. И вдруг грозный рот его медленно поехал вбок в интимной улыбке:

– Это мне... захотелось для автографа!

– Очень лестно!

Пропуск дан.

Гуськин развивает деятельность все сильнее. Приволок комиссара. Комиссар страшный. Не человек, а нос в сапогах. Есть животные головоногие. Он был носоногий. Огромный нос, к которому прикреплены две ноги. В одной ноге, очевидно, помещалось сердце, в другой совершалось пищеварение. На ногах сапоги желтые, шнурованные, выше колен. И видно, что комиссар волнуется этими сапогами и гордится. Вот она, ахиллесова пята. Она в этих сапогах, и змей стал готовить свое жало.

– Мне говорили, что вы любите искусство... – начинаю я издали и... вдруг сразу, наивно и женственно, словно не совладев с порывом, сама себя перебила: – Ах, какие у вас чудные сапоги!

Нос покраснел и слегка разбухает.

– М-м... искусство... я люблю театры, хотя редко приходилось...

---

<sup>1</sup> Клео де Мерод – знаменитая французская танцовщица и актриса конца XIX – начала XX века, фотографии которой на почтовых открытках продавались по всей Европе. Она часто снималась с распущенными длинными волосами, перехваченными декоративным обручем, и ввела такую прическу в моду. (Примеч. ред.)

– Поразительные сапоги! В них прямо что-то рыцарское. Мне почему-то кажется, что вы вообще необыкновенный человек!

– Нет, почему же... – слабо защищается комиссар. – Положим, я с детства любил красоту и героизм... служение народу...

«Героизм» и «служение» – слова в моем деле опасные. Из-за служения раздели «Летучую мышь». Надо скорее базироваться на красоте.

– Ах, нет, нет, не отрицайте! Я чувствую в вас глубоко художественную натуру. Вы любите искусство, вы покровительствуете проникновению его в народные толщи. Да, в толщи, и в гущи, и в чащи. У вас замечательные сапоги... Такие сапоги носил Торквато Тассо... и то не наверное. Вы гениальны!

Последнее слово решило все. Два вечерних платья и флакон духов будут пропущены как орудия производства.

Вечером Гуськин повел комиссара в театр. Шла оперетка «Екатерина Великая», сочиненная двумя авторами – Лоло<sup>2</sup> и мною...

Комиссар отмяк, расчувствовался и велел мне передать, что «искусство действительно имеет за собой» и что я могу провезти все, что мне нужно, – он будет «молчать как рыба об лед».

Больше я комиссара не видала.

Последние московские дни прошли бестолково и сумбурно.

Из Петербурга приехала Каза-Роза<sup>3</sup>, бывшая певица «Старинного театра». В эти памятные дни в ней неожиданно проявилась странная способность: она знала, что у кого есть и кому что нужно.

Приходила, смотрела черными вдохновенными глазами куда-то в пространство и говорила:

– В Кривоарбатском переулке, на углу, в суровской лавке, осталось еще полтора аршина батиста. Вам непременно нужно его купить.

– Да мне не нужно.

– Нет, нужно. Через месяц, когда вы вернетесь, уж нигде ничего не останется.

В другой раз прибежала запыхавшаяся:

– Вам нужно сейчас же сшить бархатное платье!

– ?

– Вы сами знаете, что это вам необходимо. На углу, в москательной [лавке] хозяйка продает кусок занавески. Только что содрала, совсем свежая, прямо с гвоздями. Выйдет чудесное вечернее платье. Вам необходимо. А такой случай уж никогда не представится.

Лицо серьезное, почти трагическое.

Ужасно не люблю слово «никогда». Если бы мне сказали, что у меня, например, никогда не будет болеть голова, я б и то, наверное, испугалась.

Покорила Каза-Розе, купила роскошный лоскут с семью гвоздями.

Странные были эти последние дни.

По черным ночным улицам, где прохожих душили и грабили, бегали мы слушать оперетку «Сильва» или в обшарпанных кафе, набитых публикой в рваных, пахнущих мокрой псиной пальто, слушали, как молодые поэты читали сами себя и друг друга, подвывая голодными голосами. Эти молодые поэты были тогда в моде, и даже Брюсов не постыдился возглавить своей надменной персоной какой-то их «эротический вечер»!

Всем хотелось быть «на людях»...

---

<sup>2</sup> Лоло, Леонид Григорьевич (Леон Гершкович) Мунштейн – поэт-сатирик, фельетонист, переводчик, драматург, издатель. Сотрудничал с популярными периодическими изданиями и сам до 1918 г. издавал журнал «Рампа и жизнь». В 1918 г. переехал в Киев, потом в Одессу, откуда эмигрировал. В эмиграции печатался в газете «Возрождение» и др. (Примеч. ред.)

<sup>3</sup> Каза-Роза – Казарова Белла Георгиевна, театральная и эстрадная певица. (Примеч. ред.)

Одним, дома, было жутко.

Все время надо было знать, что делается, узнавать друг о друге.

Иногда кто-нибудь исчезал, и трудно было дознаться, где он: в Киеве или там, откуда не вернется?

Жили как в сказке о Змее Горыныче, которому каждый год надо было отдавать двенадцать девиц и двенадцать добрых молодцев. Казалось бы, как могли люди сказки этой жить на свете, когда знали, что сожрет Горыныч лучших детей их. А вот тогда, в Москве, думалось, что, наверное, и Горынычевы вассалы бегали по театрикам и покупали себе на платишко. Везде может жить человек, и я сама видела, как смертник, которого матросы тащили на лед расстреливать, перепрыгивал через лужи, чтобы не промочить ноги, и поднимал воротник, закрывая грудь от ветра. Эти несколько шагов своей жизни инстинктивно стремился он пройти с наибольшим комфортом.

Так и мы. Покупали какие-то «последние лоскутья», слушали в последний раз последнюю оперетку и последние изысканно-эротические стихи, скверные, хорошие – не все ли равно! – только бы не знать, не сознать, не думать о том, что нас тащат на лед.

Из Петербурга пришла весточка: известную артистку арестовали за чтение моих рассказов. В ЧК заставили ее перед грозными судьями повторить рассказ. Можете себе представить, с какой бодрой веселостью читался этот юмористический монолог между двумя конвойными со штыками. И вдруг – о радостное чудо! – после первых же трепетных фраз лицо одного из судей расплывается в улыбку.

– Я слышал этот рассказ на вечере у товарища Ленина. Он совершенно аполитичен.

Успокоенные судьи попросили успокоенную подсудимую продолжить чтение уже «в ударном порядке развлечения».

В общем, пожалуй, все-таки хорошо было уехать хоть на месяц. Переменить климат.

А Гуськин все развивал деятельность. Больше, вероятно, от волнения, чем по необходимости. Бегал почему-то на квартиру к Аверченке.

– Понимаете, какой ужас, – потрясая руками, рассказывал он. – Прибегал сегодня в десять утра к Аверченке, а он спит, как из ведра. Ведь он же на поезд опоздает!

– Да ведь мы же только через пять дней едем.

– А поезд уходит в десять. Если он сегодня так спал, так почему через неделю не спать? И вообще всю жизнь? Он будет спать, а мы будем ждать? Новое дело!

Бегал. Волновался. Торопился. Хлопал в воздухе, как ремень на холостом ходу. А кто знает, как бы сложилась моя судьба без этой его энергии. Привет вам, Гуськин-псевдоним, не знаю, где вы...

## 2

Намеченный отъезд постоянно откладывался.

То кому-нибудь задерживали пропуск, то оказывалось, что надежда наша и упование – комиссар Нос-в-сапогах – еще не успел вернуться на свою станцию.

Мои хлопоты по отъезду уже почти закончились. Сундук был уложен. Другой сундук, в котором были сложены (последнее мое увлечение) старинные русские шали, поставлен был в квартире Лоло.

– А вдруг за это время назначат какую-нибудь неделю бедноты или, наоборот, неделю элегантности, и все эти вещи конфискуют?

Я попросила в случае опасности заявить, что сундук пролетарского происхождения, принадлежит бывшей кухарке Федосье. А чтобы лучше поверили и вообще отнеслись с уважением – положила сверху портрет Ленина с надписью: «Душеньке Феничке в знак приятнейших воспоминаний. Любящий Вова».

Впоследствии оказалось, что и это не помогло.

Проходили эти последние московские дни в мутном сумбуре. Выплывали из тумана люди, кружились и гасли в тумане, и выплывали новые. Так, с берега в весенние сумерки если смотришь на ледоход, видишь – плывет-кружится не то воз с соломой, не то хата, а на другой льдине – будто волк и обугленные головешки. Покружится, повернется, и унесет его течением навсегда. Так и не разберешь, что это, собственно говоря, было.

Появлялись какие-то инженеры, доктора, журналисты, приходила какая-то актриса.

Из Петербурга в Казань проехал в свое имение знакомый помещик. Написал из Казани, что имение разграблено крестьянами и что *он* ходит по избам, выкупая картины и книги. В одной избе увидел чудо: мой портрет работы художника Шлейфера, повешенный в красном углу рядом с Николаем Чудотворцем. Баба, получившая этот портрет на свою долю, решила почему-то, что я великомученица...

Неожиданно прибило к нашему берегу Л[идию] Яворскую<sup>4</sup>. Пришла элегантная, как всегда, говорила о том, что мы должны сплотиться и что-то организовать. Но что именно – никто так и не понял. Ее провожал какой-то бойскаут с голыми коленками. Она его называла торжественно «мосье Соболев». Лыдина повернулась, и они уплыли в тумане...

Неожиданно появилась Миронова. Сыграла какие-то пьесы в театрике на окраине и тоже исчезла.

Потом вплыла в наш кружок очень славная провинциальная актриса. У нее украли бриллианты, и в поисках этих бриллиантов обратилась она за помощью к комиссару по уголовному сыску. Комиссар оказался очень милым и любезным человеком, помог ей в деле и, узнав, что ей предстояло провести вечер в кругу писателей, попросил взять его с собой. Он никогда не видал живого писателя, обожал литературу и мечтал взглянуть на нас. Актриса, спросив нашего разрешения, привела комиссара. Это был самый огромный человек, которого я видела за свою жизнь. Откуда-то сверху гудел колоколом его голос, но гудел слова самые сентиментальные: детские стихи из хрестоматии и уверения, что до встречи с нами он жил только умом (с ударением на «у»), а теперь зажил сердцем.

Целые дни он ловил бандитов. Устроил музей преступлений и показывал нам коллекцию необычно сложных инструментов для перекусывания дверных цепочек, бесшумного выпиливания замков и перерезывания железных болтов. Показывал деловые профессионально-воровские чемоданчики, с которыми громилы идут на работу. В каждом чемоданчике были непременно потайной фонарик, закуска и флакон одеколона. Одеколон удивил меня.

«Странно – какие вдруг культурные потребности, какая изысканность, да еще в такой момент. Как им приходит в голову обтираться одеколоном, когда каждая минута дорога?»

Дело объяснилось просто: одеколон этот заменял им водку, которую тогда нельзя было достать.

Половивши своих бандитов, комиссар приходил вечером в наш кружок, умилялся, удивлялся, что мы «те самые», и провожал меня домой. Жутковато было шагать ночью по глухим черным улицам рядом с этим верзилкой. Кругом жуткие шорохи, крадущиеся шаги, вскрики, иногда выстрелы. Но самым страшным все-таки был этот охраняющий меня великан.

Иногда ночью звонил телефон. Это ангел-хранитель, переставший жить умом (с ударением на «у»), спрашивал, все ли у нас благополучно.

Перепуганные звонком, успокаивались и декламировали:

Летают сны-мучители  
Над грешными людьми,

---

<sup>4</sup> Яворская Лидия Борисовна – известная актриса конца XIX – начала XX века, славившаяся элегантностью и изысканными манерами. (Примеч. ред.)



И ангелы-хранители  
Беседуют с детьми.

Ангел-хранитель не бросил нас до самого нашего отъезда, проводил на вокзал и охранял наш багаж, который очень интересовал вокзальных чекистов.

У всех нас, отъезжающих, было много печали, и общей всем нам, и у каждого своей, отдельной. Где-то глубоко за зрачками глаз чуть светился знак этой печали, как кости и череп на фуражке «гусаров смерти»<sup>5</sup>. Но никто не говорил об этой печали.

Помню нежный силуэт молодой арфистки, которую потом, месяца через три, предали и расстреляли. Помню свою печаль о молодом друге Лене Каннегиссере. За несколько дней до убийства Урицкого он, узнав, что я приехала в Петербург, позвонил мне по телефону и сказал, что очень хочет видеть меня, но где-нибудь на нейтральной почве.

– Почему же не у меня?

– Я тогда и объясню почему.

Условились пообедать у общих знакомых.

– Я не хочу наводить на вашу квартиру тех, которые за мной следят, – объяснил Каннегиссер, когда мы встретились.

Я тогда сочла слова мальчишеской позой. В те времена многие из нашей молодежи принимали таинственный вид и говорили загадочные фразы.

Я поблагодарила и ни о чем не расспрашивала.

Он был очень грустный в этот вечер и какой-то притихший.

Ах, как часто вспоминаем мы потом, что у друга нашего были в последнюю встречу печальные глаза и бледные губы. И потом мы всегда знаем, что надо было сделать тогда, как взять друга за руку и отвести от черной тени. Но есть какой-то тайный закон, который не позволяет нам нарушить, перебить указанный нам темп. И это отнюдь не эгоизм и не равнодушие, потому что иногда легче было бы остановиться, чем пройти мимо. Так, по плану трагического романа «Жизнь Каннегиссера» великому Автору его нужно было, чтобы мы, не нарушая темпа, прошли мимо. Как во сне – вижу, чувствую, почти знаю, но остановиться не могу...

Вот так и мы, писатели, по выражению одного из современных французских литераторов, «подражатели Бога» в Его творческой работе, мы создаем миры и людей и определяем их судьбы, порой несправедливые и жестокие. Почему поступаем так, а не иначе, – не знаем. И иначе поступить не можем.

Помню, раз на репетиции одной из моих пьес подошла ко мне молоденькая актриса и сказала робко:

– Можно у вас спросить? Вы не рассердитесь?

– Можно. Не рассержусь.

– Зачем вы сделали так, что этого бестолкового мальчишку в вашей пьесе выгоняют со службы? Зачем вы такая злая? Отчего вы не захотели, ну, хоть приискать для него другое место? А еще в одной вашей пьесе бедный коммивояжер остался в дураках. Ведь ему же это неприятно. Зачем же так делать? Неужели вы не можете все это как-нибудь поправить? Почему?

– Не знаю... Не могу... Это не от меня зависит...

Но она так жалобно просила меня, и губы у нее так дрожали, и такая она была трогательная, что я обещала написать отдельную сказку, в которой соединю всех мною обиженных и в рассказах, и в пьесах и вознагражу всех.

---

<sup>5</sup> «Черные гусары», или «гусары смерти», – Александрийский 5-й гусарский полк, отличавшийся отчаянной храбростью. Гусары-александрійцы носили черные мундиры с символикой в виде серебряного черепа и мальтийского креста с черепом. Поэт Николай Гумилев, служивший в этом полку в годы Первой мировой войны, посвятил своим однополчанам восторженные стихи, что сделало «черных гусаров» популярными в литературных кругах. (Примеч. ред.)

– Чудесно! – сказала актриса. – Вот это будет рай!

И она поцеловала меня.

– Но боюсь одного, – остановила я ее. – Боюсь, что наш рай никого не утешит, потому что все почувствуют, что мы его выдумали, и не поверят нам...

Ну вот, утром едем на вокзал.

Гуськин с вечера бегал от меня к Аверченко, от Аверченко – к его импресарию, от импресарию – к артистам, лез по ошибке в чужие квартиры, звонил не в те телефоны и в семь часов утра влетел ко мне, запаренный, хрипящий, как опоенная лошадь. Взглянул и безнадежно махнул рукой.

– Ну конечно. Новое дело. Опоздали на вокзал!

– Быть не может! Который же час?

– Семь часов, десятый. Поезд в десять. Все кончено.

Туськину дали кусок сахара, и он понемногу успокоился, грызя это попугайное угощение.

Внизу загудел присланный ангелом-хранителем автомобиль.

Чудесное осеннее утро. Незабываемое. Голубое, с золотыми куполами – там, наверху. Внизу – серое, тяжелое, с остановившимися в глубокой тоске глазами. Красноармейцы гонят группу арестованных... Высокий старик в бобровой шапке несет узелок в бабьем кумачовом платочке... Старая дама в солдатской шинели смотрит на нас через бирюзовый лорнет... Очередь у молочной лавки, в окне которой выставлены сапоги...

«Прощай, Москва, милая. Не надолго. Всего на месяц. Через месяц вернусь. Через месяц. А что потом будет, об этом думать нельзя».

«Когда идешь по канату, – рассказывал мне один акробат, – никогда не следует думать, что можешь упасть. Наоборот. Нужно верить, что все удастся, и непременно напевать».

Веселый мотив из «Сильвы» со словами потрясающего идиотизма звенит в ушах:

Любовь-злодейка,  
Любовь-индейка,  
Любовь из всех мужчин  
Наделала слепых...

«Какая лошадь сочинила это либретто?..» У дверей вокзала ждет Гуськин и гигант комиссар, переставший жить умом (с ударением на «у»). «Москва, милая, прощай. Через месяц увидимся». С тех пор прошло десять лет...

### 3

Началось путешествие довольно гладко.

Ехали в вагоне второго класса, каждый на своем месте, не под скамьей и не в сетке для багажа, а как вообще пассажирам сидеть полагается.

Антрепренер мой, псевдоним Гуськин, волновался – почему поезд долго не отходит, а когда отошел – стал уверять, что отошел преждевременно.

– И это недобрый знак! Еще увидите, что будет!

Вид у Туськина, как только он влез в вагон, мгновенно и странно изменился. Казалось, будто он путешествует дней десять и вдобавок при самых зверских условиях: башмаки у него расшнуровались, воротничок отстегнулся и обнаружил под кадыком круглый зеленый знак от медной запонки. И что совсем уж странно – щеки покрылись щетиной, будто он дня четыре отпускает бороду.

Кроме нашей группы сидели в том же отделении три дамы. Разговоры велись то вполголоса, а то и совсем шепотом на тему, близкую переживаемому моменту: как кто словчился перевезти за границу бриллианты и деньги.

– Слыхали? Прокины все свое состояние перевезли. Накрутили на бабушку.

– А почему же бабушку не осматривали?

– Ох, и что вы! Она такая неприятная. Ну кто же решится!..

– А Коркины как ловко придумали! И все экспромтом! Мадам Коркина, уже обшаренная, стоит в стороне и вдруг – «ах, ах!» – нога у нее подвернулась. Не может шага сделать. А муж, еще необшаренный, говорит красноармейцу: «Передайте ей, пожалуйста, мою палку, пусть подопрется». Тот передал. А палка-то у них долбленая и набита бриллиантами. Ловко?

– У Булкиных чайник с двойным дном.

– Фаничка провезла большущий бриллиант, так вы не поверите – в собственном носу.

– Ну, ей хорошо, когда у нее нос на пятьдесят карат. Не всякому такое счастье.

Потом рассказывали трагическую историю, как какая-то мадам Фук спрятала очень хитро бриллиант в яйцо. Сделала маленькую дырочку в скорлупе сырого яйца, засунула бриллиант, а потом яйцо сварила вкрутую. Пойди-ка найди. Положила яйцо в корзинку с провизией и спокойно сидит, улыбается. Входят в вагон красноармейцы. Осматривают багаж. Вдруг один солдат схватил это самое яйцо, облупил и тут же, на глазах у мадам Фук, слопал. Несчастная женщина так дальше и не поехала. Вылезла на станции, три дня ходила за этим паршивым красноармейцем, как за малым ребенком, глаз с него не спускала.

– Ну и что же?

– Э, где там! Так ни с чем и домой вернулась.

Стали вспоминать о разных хитростях, о том, как во время войны ловили шпионов.

– До того эти шпионы исхитрились! Подумайте только: стали у себя на спине зарисовывать планы крепостей, а потом сверху закрашивать. Ну, военная разведка тоже не глупая – живо догадалась. Стали всем подозрительным субъектам спины мыть. Конечно, случались досадные ошибки. У нас в Гродно поймали одного господина. На вид – прямо поразительный брюнет. А как вымыли его, оказался блондин и честнейший малый. Разведка очень извинялась...

Под эту мирную беседу на жуткие темы ехать было приятно и удобно, но не проехали мы и трех часов, как вдруг поезд остановился и велели всем высаживаться.

Вылезли, выволокли багаж, простояли на платформе часа два и влезли в другой поезд, весь третьеклассный, набитый до отказа. Против нас оказались злющие белоглазые бабы. Мы им не понравились.

– Едут, – сказала про нас рябая, с бородавкой. – Едут, а чего едут и зачем едут – и сами не знают.

– Что с цепи сорвавши, – согласилась с ней другая, в замызганном платке, кончиками которого она элегантно вытирала свой утиный нос.

Больше всего раздражала их китайская собачка пекинуа, крошечный шелковый комочек, которую везла на руках старшая из наших актрис.

– Ишь, собаку везет! Сама в шляпке и собаку везет.

– Оставила бы дома. Людям сесть некуда, а она собачищу везет!

– Она же вам не мешает, – дрожащим голосом вступилась актриса за свою «собачищу». – Все равно я бы вас к себе на колени не посадила.

– Небось, мы собак с собой не возим, – не унимались бабы.

– Ее одну дома оставлять нельзя. Она нежная. За ней ухода больше, чем за ребенком.

– Чаво-о?

– Ой, да что же это? – вдруг окончательно взбеленилась рябая и даже с места вскочила. – Эй! Послушайте-ка, что тут говорят-то. Вон энта, в шляпке, говорит, что наши дети хуже собак! Да неужто мы это сносить должны?

– Кто-о? Мы-ы? Мы собаки, а она нет? – зароптали злобные голоса.

Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы дикий визг не прервал этой интересной беседы. Визжал кто-то на площадке. Все сорвались с мест, кинулись узнавать. Рябая сунулась туда же и, вернувшись, очень дружески рассказывала нам, как там поймали вора и собрались его «под вагон спускать», да тот на ходу спрыгнул.

– Жуткие типики! – сказал Аверченко. – Старайтесь не обращать ни на что внимания. Думайте о чем-нибудь веселом.

Думаю. Вот сегодня вечером зажгутся в театре огни, соберутся люди, рассядутся по местам и станут слушать:

Любовь-злодейка,  
Любовь-индейка,  
Любовь из всех мужчин  
Наделала слепых...

И зачем я только вспомнила! Опять привязался этот идиотский куплет! Как болезнь!

Кругом бабы весело гуторят, как бы хорошо было вора под колеса спустить и что он теперь не иначе как с проломленной головой лежит.

– Самосудом их всех надо! Глаза выколоть, язык вырвать, уши отрезать, а потом камень на шею да в воду!

– У нас в деревне подо льдом проволакивали на веревке из одной пролубли да в другую...

– Жгут их тоже много...

О, интересно, что бы они с нами сделали за собачку, если бы история с вором не перебила настроения.

Любовь-злодейка,  
Любовь-индейка...

– Какой ужас! – говорю я Аверченке.

– Тише... – останавливает он.

– Я не про них. У меня своя пытка. Не могу от «Сильвы» отвязаться. Буду думать о том, как бы они нас жарили (может быть, это поможет). Воображаю, как моя рябая визави суежилась бы! Она хозяйственная. Раздувала бы щечки... А что бы говорил Гуськин? Он бы кричал: «Позвольте, но у нас контракт! Вы мешаете ей выполнить договор и разоряете меня как антрепренера! Пусть она сначала заплатит мне неустойку!»

«Индейка» и «злодейка» понемногу стали отходить, глохнуть, гаснуть.

Поезд подходил к станции. Засуетились бабы с узлами, загромыхали сапожищи солдат, мешки, кули, корзины закрыли свет божий. И вдруг за стеклом искаженное ужасом лицо Гуськина: он ехал последние часы в другом вагоне. Что с ним случилось?

Страшный, белый, задыхается.

– Вылезайте скорее! Маршрут меняется. По той дороге проехать нельзя. Потом объясню...

Нельзя так нельзя. Вылезаем. Я замешкалась и выхожу последняя. Только что спрыгнула на платформу, как вдруг подходит ко мне оборванный нищий мальчишка и отчетливо говорит:

– «Любовь-злодейка, любовь-индейка». Пожалуйте полтинник.

– Что-о?

– Полтинник. «Любовь-злодейка, любовь-индейка».

Кончено. Сошла с ума. Слуховая галлюцинация. Не могли, видно, мои слабые силы перенести этой смеси: оперетку «Сильва» с народным гневом.

Ищу дружеской поддержки. Ищу глазами нашу группу. Аверченко ненормально деловито рассматривает собственные перчатки и не откликается на мой зов. Сую мальчишке полтинник. Ничего не понимаю, хотя догадываюсь...

– Признавайтесь сейчас же! – говорю Аверченке.

Он сконфуженно смеется.

– Пока, – говорит, – вы в вагоне возились, я этого мальчишку научил: хочешь, спрашиваю, деньги заработать? Так вот, сейчас из этого вагона вылезет пассажирка в красной шапочке. Ты подойди к ней и скажи: «Любовь-злодейка, любовь-индейка». Она за это всегда всем по полтиннику дает. Мальчишка оказался смысленный.

Гуськин, хлопотавший у багажного вагона с нашими сундуками, подошел, обливаясь зеленым потом ужаса.

– Новое дело! – трагическим шепотом сказал он. – Этот бандит расстрелялся!

– Какой бандит?

– Да ваш комиссар. Чего вы не понимаете? Ну? Расстреляли его за грабежи, за взятки. Через ту границу ехать нельзя. Там теперь не только оберут, а еще и зарежут. Попробуем проехать через другую.

Через другую так через другую. Часа через два сели в другой поезд и поехали в другую сторону.

Приехали на пограничную станцию вечером. Было холодно, хотелось спать. Что-то нас ждет? Скоро ли выпустят отсюда и как поедem дальше?

Гуськин с Аверченкиным «псевдонимом» ушли на вокзал для переговоров и выяснения положения, строго наказав нам стоять и ждать. Ауспиции<sup>6</sup> были тревожны.

Платформа была пустая. Изредка появлялась какая-то темная фигура, не то сторож, не то баба в шинели, смотрела на нас подозрительно и снова уходила. Ждали долго. Наконец показался Гуськин. Не один. С ним четверо.

Один из четырех кинулся вперед и подбежал к нам. Эту фигуру я никогда не забуду: маленький, худой, черный, кривоносый человечек в студенческой фуражке и в огромной великолепной бобровой шубе, которая стлалась по земле, как мантия на королевском портрете в каком-нибудь тронном зале. Шуба была новая, очевидно только что содранная с чьих-то плеч.

Человечек подбежал к нам, левой рукой, очевидно, привычным жестом подтянул штаны, правую вдохновенно и восторженно поднял кверху и воскликнул:

– Вы Тэффи? Вы Аверченко? Браво, браво и браво. Перед вами комиссар искусств этого местечка. Запросы огромные. Вы, наши дорогие гости, остановитесь у нас и поможете мне организовать ряд концертов с вашими выступлениями, ряд спектаклей, во время которых исполнители – местный пролетариат – под вашим руководством разыграют ваши пьесы.

Актриса с собачкой, тихо ахнув, села на платформу. Я оглянулась кругом. Сумерки. Маленький вокзальчик с палисадничком. Дальше убогие местечковые домишки, заколоченная лавчонка, грязь, голая верба, ворона и этот «Робеспьер».

– Мы бы, конечно, с удовольствием, – спокойно отвечает Аверченко, – но, к сожалению, у нас снят киевский театр для наших вечеров, и мы должны очень спешить.

– Ничего подобного! – воскликнул Робеспьер и вдруг понизил голос: – Вас никогда не пропустят через границу, если я об вас не попрошу специально. А почему я буду просить? Потому что вы отозвались на нужды нашего пролетариата. Тогда я смогу даже попросить, чтобы пропустили ваш багаж!..

Тут неожиданно выскочил Гуськин и хлопотал:

– Господин комиссар. Ну конечно же, они соглашаются. Я хотя теряю на этой задержке огромный капитал, но я сам берусь их уговорить, хотя я сразу понял, что они уже рады служить

---

<sup>6</sup> Предсказания древнеримских жрецов-авгуров, гадавших по полетам птиц. (Примем. ред.)

нашему дорогому пролетариату. Но имейте в виду, господин комиссар, только один вечер. Но какой вечер! Такой вечер, что вы мне оближете все пальчики. Вот как! Завтра вечер, послезавтра утром в путь. Ну, вы уже согласны, ну, вы уже довольны. Но где бы нам переночевать наших гостей?

– Стойте здесь. Мы сейчас все устроим! – воскликнул Робеспьер и побежал, замечая следы бобрами. Три фигуры, очевидно его свита, последовали за ним.

– Попали! В самое гнездо! Каждый день расстрелы... Три дня тому назад – сожгли живьем генерала. Багаж весь отбирают. Надо выкручиваться.

– Пожалуй, придется ехать назад, в Москву.

– Тсс!.. – шелестел Гуськин. – Они вас пустят в Москву, чтобы вы рассказали, как они вас ограбили? Так они вас не пустят! – с жутким ударением на «не» сказал он и замолчал.

Вернулся Аверченкин антрепренер. Шел, прижимаясь к стенке, и оглядывался, втягивая голову в плечи.

– Где же вы были?

– Сделал маленькую разведку. Беда... Некуда сунуться. Местечко битком набито народом.

С удивлением оглядываюсь. Так не вяжутся эти слова с пустотой этих улиц, с тишиной и синими сумерками, не прорезанными лучом фонаря.

– Где же все эти люди? И почему они здесь сидят?

– Почему! По две-три недели сидят. Не выпускают их отсюда ни туда, ни сюда. Что здесь делается! Не могу говорить!.. Тсс!..

По платформе широкой птицей летел в бобрах наш Робеспьер. За ним свита.

– Помещение для вас найдено. Две комнаты. Сейчас оттуда выселяют. Сколько их там набито... с детьми... такой рев подняли! Но у меня ордер. Я реквизирую на нужды пролетариата.

И снова левою рукой подтянул штаны, а правую вдохновенно простер вперед и вверх, как бы обозначая путь к дальним звездам.

– Знаете что, – сказала я, – это нам совсем не подходит. Вы их, пожалуйста, не выселяйте. Мы туда пойти не можем.

– Да, – подтвердил Аверченко. – Там у них дети, понимаете, это не годится.

Гуськин вдруг весело развел руками.

– Да, они у нас такие, хе-хе! Ничего не поделаешь! Да вы уж не беспокойтесь, мы где-нибудь притулимся... они уж такие...

Приглашал публику веселым жестом удивляться, какие, мол, мы чудачки, но сам, конечно, душою был с нами.

Робеспьер растерялся. И тут неожиданно выдвинулся какой-то субъект, до сих пор скромно прятавшийся за спиной свиты.

– Я м-могу предложить по-по-э-э... ку... ку...

– Что?

– Ку-комнаты.

Кто такой? Впрочем, не все ли равно.

Повели нас куда-то за вокзал в домик казенного типа. Заика оказался мужем дочери бывшего железнодорожника.

Робеспьер торжествовал.

– Ну вот, ночлег я вам обеспечил. Устраивайтесь, а я вечером загляну.

Заика мычал, кланялся.

Устроились.

Мне с актрисами дали отдельную комнату. Аверченку взял к себе заика, «псевдонимов» упрятали в какую-то кладовку.



Дом был тихий. По комнатам бродила пожилая женщина, такая бледная, такая измученная, что казалось, будто ходит она с закрытыми глазами. Кто-то еще шевелился на кухне, но в комнату не показывался: кажется, жена заики.

Напоили нас чаем.

– Можно бы ве-э-э-тчины... – шепнул заика. – Пока светло...

– Нет, уже стемнело, – прошелестела в ответ старуха и закрыла глаза.

– М-ма-м-маша. А если без фонаря, а только спички...

– Иди, если не боишься.

Заика поежился и остался. Что все это значит? Почему у них ветчину едят только днем? Спросить неловко. Вообще спрашивать ни о чем нельзя.

Самого простого вопроса хозяева пугаются и уклоняются от ответа. А когда одна из актрис спросила старуху, здесь ли ее муж, та в ужасе подняла дрожащую руку, тихо погрозила ей пальцем и долго молча всматривалась в черное окно.

Мы совсем притихли и сжались. Выручал один Гуськин. Он громко отдувался и громко говорил удивительные вещи:

– А у вас, я вижу, шел дождь. На улице мокро. Когда идет дождь, так уж всегда на улице мокро. Когда в Одессе идет, так и в Одессе мокро. Так и не бывает, чтобы в Одессе шел дождь, а в Николаеве было мокро. Ха-ха! Уж где идет дождь, так там и мокро. А когда нет дождя, так не дай бог как сухо. Ну, а кто любит дождь, я вас спрашиваю? Никто не любит, ей-богу. Ну, чего я буду врать. Хе!

Гуськин был гениален. Оживлен и прост. И когда распахнулась дверь и влетел Робеспьер, сопровождаемый свитой, усиленной до шести человек, он нашел уютную компанию, собравшуюся вокруг чайного стола послушать занятого рассказчика.

– Великолепно! – воскликнул Робеспьер. Подтянул левой рукой штаны и, не снимая шубы, сел за стол.

Свита разместилась тоже.

– Великолепно. Начало в восемь. Барак декорирован еловыми шишками. Вместимость – полтора человека. Утром расклеиваем плакаты. А сейчас побеседуем об искусстве. Кто главнее – режиссер или хор?

Мы растерялись, но не все. Молоденькая наша актриса, как полковая лошадь, услышавшая звуки трубы, сорвалась и понесла – кругами, прыжками, поворотами. Замелькал Мейерхольд с «треугольниками соотношения сил», Евреинов<sup>7</sup> с «театром для себя», *Commedia dell'arte*, актеро-творчество, «долой рампу», соборное действо и тра-та-ра-та-ра-та.

Робеспьер был упоен.

– Это как раз то, что нам нужно! Вы останетесь у нас и прочтете несколько лекций об искусстве. Это решено.

Бедная девочка побледнела и растерянно смотрела на нас.

– У меня контракт... я через месяц могу... я вернусь... я клянусь...

Но теперь уже понесся Робеспьер. У него был свой репертуар: пьеса на заумном языке. Широкое развитие жеста. Публика сама сочиняет пьесы и тут же их разыгрывает. Актеры изображают публику, для чего нужен большой талант, чем для обычной рутинной актерской игры.

Все шло гладко. Нарушала мирную картину культурного уюта только маленькая собачка. Робеспьер производил на нее явно злое впечатление. Крошечная, как шерстяная рукавица, она рычала на него с яростью тигра, щерила бисерные зубки и вдруг, закинув голову,

---

<sup>7</sup> Евреинов Николай Николаевич – актер, режиссер, теоретик театрального искусства, разработал ряд новаторских концепций театрального действия. Поначалу он принял революцию, в 1920 г. прославился грандиозным массовым спектаклем «Взятие Зимнего дворца», воспроизводившим кульминационные события октября 1917 г. В постановке приняли участие около 8000 членов массовки и 500 музыкантов оркестра. С 1925 г. Евреинов находился в эмиграции, где достиг высоких степеней в масонском движении. (Примеч. ред.)

завыла, как простой цепной барбос. И Робеспьер, несшийся на крыльях искусства в неведомые просторы, вдруг почему-то страшно испугался и осекся на полуслове.

Актриса унесла собачку.

На минутку все притихли. И тогда где-то недалеко от дома, по направлению к железнодорожной насыпи, послышался какой-то словно нечеловеческий, словно козлиный вопль, столько в нем было животного ужаса и отчаяния. Затем три сухих ровных выстрела, отчетливых и деловитых.

– Вы слышали? – спросила я. – Что это такое может быть?

Но никто не ответил мне. По-видимому, никто не слышал.

Бледная хозяйка сидела не шевелясь, закрыв глаза. Хозяин, все время молчавший, судорожно тряс челюстью, точно и думал, заикаясь. Робеспьер с жаром заговорил о завтрашнем вечере, заговорил значительно громче, чем раньше. Из этого я поняла, что он что-то слышал...

Свита все время молча курила и в разговор не вмешивалась. Один из свиты, курносый парень в бурой драной гимнастерке, вынул золотой массивный портсигар с литым вензелем. Протянулась чья-то заскорузлая лапа с обломанными ногтями; на лапе тускло блеснул чудесный рубин-кабошон, глубоко потопленный в массивную оправу старинного перстня. Странные наши гости!..

Молоденькая актриса задумчиво обошла вокруг стола и встала у стены. Я почувствовала, что она зовет меня глазами, но не встала. Она смотрела на спину Робеспьера, нервно дергая губами...

– Оленушка, – сказала я. – Пора нам спать. Завтра с утра будем репетировать.

Распрощались общим поклоном и пошли к себе. Тихая хозяйка пошла за нами со свечкой.

– Свет погасите, – шепнула она. – Разденетесь уж как-нибудь впотьмах... А штору, ради бога, не спускайте.

Мы стали спешно устраиваться. Она задула свечку.

– Так помните про штору. Ради бога...

Ушла.

Чье-то теплое дыхание около меня. Это актриса – Оленушка.

– У него на этой чудесной шубе на спине дырка, – шепчет она, – и что-то темное вокруг... что-то страшное.

– Спите, Оленушка. Все мы устали и нервничаем...

Всю ночь собачка беспокоится, рычит и скулит. И на рассвете Оленушка говорит во сне жутким громким голосом:

– Я знаю, отчего она воет. У него шуба прострелена, и кровь запеклась.

У меня сердце бьется до тошноты. Я не рассматривала этой шубы, но сейчас понимаю, что все это и не видя знала...

Утром проснулись поздно. Холодный серый день. Дождь. За окном сарай, амбары, подальше – насыпь. Пусто. Ни души.

Хозяйка принесла нам чаю, хлеба, ветчины.

И шепотом:

– Зять достал ее на рассвете. Она спрятана в сарае. Ночью, если пойти с фонарем, – донесут. А днем тоже увидят. Придут обыскивать. У нас каждый день обыски.

Сегодня она словоохотливее. Но лицо «молчит». Лицо каменное, точно боится она сказать лицом больше, чем хочет.

В дверь стучит Гуськин.

– Вы скоро? Здешняя... молодежь уже два раза прибегала.

Хозяйка уходит. Я приоткрываю дверь, подзываю Гуськина.

– Гуськин, скажите, все благополучно? Выпустят нас отсюда? – шепотом спрашиваю я.

– Улыбайтесь, ради бога, улыбайтесь, – шепчет Гуськин, растягивая рот в зверской улыбке, как «L'homme qui rit»<sup>8</sup>. – Улыбайтесь, когда разговариваете, может, кто, не дай бог, подсматривает. Обещали выпустить и дать охрану. Здесь начинается зона в сорок верст. Там грабят.

– Кто же грабит?

– Ха! Кто? Они же и грабят. Ну а если будут провожатые из самого главного пекла, так они таки побоятся. Одно скажу: мы должны отсюда завтра уехать. Иначе, ей-богу, я буду очень удивлен, если когда-нибудь увижу свою мамашу.

Мысль была сложная, но явно неутешительная.

– Сегодня весь день сидите дома. Выходить не надо. Устали и репетируют. Все репетируют, и все устали.

– А вы не знаете, где сам хозяин?

– Точно не знаю. Или он расстрелян, или он бежал, или он здесь под полом сидит. А то чего они так бояться? Весь день, всю ночь двери и окна открыты. Отчего не смеют закрыть? Почему показывают, что ничего не прячут? Но чего нам с вами об этом думать? И чего об этом рассуждать? Что, нам за это заплатят? Дадут почетное гражданство? У них тут были дела, такие дела, которые пусть у нас не будут. Этот заикается стал отчего? Три недели заикается. Так мы не хотим заикаться, мы лучше себе уедем с сундучками и с охраной.

В столовой двинули стулом.

– Скорее, репетировать! – громко закричал Гуськин, отскочив от двери. – Вставайте скорее! Ей-богу, одиннадцать часов, а они спят, как из ведра!

Мы с Оленушкой под предлогом усталости просидели весь день у себя... Аверченко, антрепренер и актриса с собачкой приняли на себя беседу с вдохновенными «культуртрегерами». Ходили даже с ними гулять.

– Любопытная история, – рассказывал, вернувшись, Аверченко. – Видите тот разбитый сарай? Рассказывают, что месяца два тому назад здесь большевикам пришлось плохо и какому-то ихнему главному комиссару понадобилось спешно удирать. Он вскочил на паровоз и велел железнодорожнику везти себя. А тот взял да и пустил машину полным ходом в стену депо. Большевик заживо сварился.

– А тот?

– Того не нашли.

– Может быть... это и есть наш хозяин?..

#### 4

Бесконечно тянулся день, сумеречный, мокрый.

Мы забились в нашу «дамскую» комнату, туда же пришел и Аверченко. Точно по уговору, никто не говорил о том, что в настоящий момент больше всего волновало... Вспоминали о последних московских днях, об оставленной компании этих последних дней. Ни о настоящем, ни о будущем – ни слова.

Как-то поживает «высокий (ростом) покровитель»? Все ли еще живет сердцем или снова зажил умом, с ударением на «у»?..

Я вспомнила, как накануне отъезда зашла попрощаться к одной бывшей баронессе. Застала я бывшую баронессу за очень нетитулованным занятием: она мыла пол. Длинная, желтая, с благородно-лошадиным лицом, сидела она на корточках и, прижав к глазам бирюзовый лорнет, с отвращением разглядывала половицы. В другой руке деликатно, двумя пальчиками, держала мокрый обрывок кружева и брызгала этим кружевом на пол.

---

<sup>8</sup> «Человек, который смеется» (фр.), роман Виктора Гюго. (Примеч. ред.)

– А вытирать я буду потом, когда мой валансьен высохнет...

Вспоминали хлеб последних московских дней, двух сортов: из опилок, рассыпавшийся, как песок, и из глины – горький, зеленоватый, всегда сырой...

Аверченко взглянул на часы:

– Ну вот, скоро и вечер. Уже пять часов.

– Кажется, кто-то стукнул в окно, – насторожилась Оленушка.

Под окном Гуськин.

– Госпожа Тэффи! Господин Аверченко! – громко кричит он. – Вы должны непременно немножко пройтись. Ей-богу, к вечеру нужно иметь свежую голову для звука голоса.

– Да ведь дождь идет!

– Дождь маленький, непременно нужно. Это я вам говорю.

– Он, может быть, хочет что-нибудь сказать, – шепчу я Аверченко. – Выйдите вперед и узнайте, один ли он. Если Робеспьер с ним, я не выйду. Я не могу.

Больше всего я боялась, что мне придется пожать руку этому Робеспьеру. Я могла отвечать на его вопросы, смотреть на него, но дотронуться, почувствовала, что не смогла бы. Такое острое истерическое отвращение было у меня к этому существу, что я не отвечала за себя, не могла поручиться, что не закричу, не заплачу, не выкину чего-нибудь непоправимого, за что придется расплачиваться не только мне самой, но и всей нашей компании. Чувствовала, что физического контакта с этой гадиной не вынесу.

Аверченко показался за окном и поманил меня.

– Не ходите направо, – шепнула мне хозяйка в сенях, делая вид, что ищет мои калоши.

– Идем посреди улицы, – шепнул Гуськин. – Мы себе гуляем для воздуха.

И мы пошли мерно и вольготно, поглядывая на небо – да, все больше на небо, – гуляем, да и только.

– Не смотрите на меня, смотрите себе на дождик, – бормотал Гуськин.

Огляделся, обернулся, успокоился и заговорил:

– Я таки кое-что узнал. Здесь главное лицо – комиссарша Х.

Он назвал звучную фамилию, напоминающую собачий лай.

– Х. – молодая девица, курсистка, не то телеграфистка – не знаю. Она здесь всё. Сумасшедшая – как говорится, ненормальная собака. Зверь, – выговорил он с ужасом и с твердым знаком на конце. – Все ее слушаются. Она сама обыскивает, сама судит, сама расстреливает: сидит на крылечке, тут судит, тут и расстреливает. А когда ночью у насыпи, то это уже не она. И ни в чем не стесняется.

Я даже не могу при даме рассказать, я лучше расскажу одному господину Аверченко. Он писатель, так он сумеет как-нибудь в поэтической форме дать понять. Ну, одним словом, скажу, что самый простой красноармеец иногда от крылечка уходит куда-нибудь себе в сторону. Ну, так вот, эта комиссарша никуда не отходит и никакого стеснения не признает. Так это же ужас!

Он оглянулся.

– Повернем немножечко в другую сторону.

– А что насчет нас слышно? – спросила я.

– Обещают отпустить. Только комиссарша еще не высказалась. Недели тому назад проезжал генерал. Бумаги все в порядке. Стала обыскивать – нашла керенку: в лампы себе зашил. Так она говорит: «На него патронов жалко тратить... Бейте прикладом». Ну, били. Спрашивает: «Еще жив?»

«Ну, – говорят, – еще жив».

«Так облейте керосином и подожгите».

Облили и сожгли. Не смотрите на меня, смотрите на дождик... мы себе прогуливаемся.

Сегодня утром одну фабрикантку обыскивали. Много везла с собой. Деньги. Меха. Бриллианты. С ней приказчик ехал. А муж на Украине. К мужу ехала. Все отобрали. Буквально все. В одном платье осталась. Какая-то баба дала ей свой платок. Неизвестно еще, пропустят ее отсюда или... Ой, да куда же мы идем! Вертайте скорей!

Мы почти подошли к насыпи.

– Не смотрите же туда! Не смотрите! – хрипел Гуськин. – Ой, вертайте скорее!.. Мы же ничего не видали... Идите тихонько... Мы же себе гуляем. У нас сегодня концерт, мы же гуляем, – убеждал он кого-то и улыбался побелевшими губами.

Я быстро повернулась и почти ничего не видела. Я даже не поняла, чего именно не надо было видеть. Какая-то фигура в солдатской шинели нагибалась, подбирала камни и швыряла в свору собак, которые что-то грызли. Но это было довольно далеко, внизу, у насыпи. Одна собака отбежала, волоча что-то по земле. Это все было так мгновенно... Мне показалось, что волочит она... наверное... показалось... волочит руку... да, какие-то лохмотья и руку, я видела пальцы. Только ведь это невозможно. Ведь нельзя же отгрызть руку...

Помню холодный липкий пот на висках и у рта и судорогу потрясающей тошноты, от которой хотелось рычать по-звериному.

– Идемте, идемте!

Аверченко ведет меня под руку.

– Ведь хозяйка предупреждала, – хочу я сказать, но не могу разжать зубы и ничего не могу выговорить.

– Мы попросим горячего чая! – кричит Гуськин. – И мигрень живо пройдет. От холодного мигрень всегда проходит. Что?

Когда мы подошли к дому, он шепнул:

– Актрисам нашим ни о чем ни полслова. Все равно, если даже очень громко завизжать, так новый строй наладить не успеют – нам утром надо уезжать. Что-о?

Туськино «что-о?» не означает вопроса и ответа не требует. Это просто стиль и риторическое украшение речи. Хотя иногда казалось, что в Гуськине два человека: один говорит, а другой с удивлением переспрашивает.

Дома застали мирную картину: лампа, самовар. Одна из актрис поит молоком свою собачку, другая репетирует какой-то монолог для вечера.

Что же, однако, я буду читать? Какая у нас будет аудитория? Робеспьер говорил, что все «светлые личности, сбросившие вековые цепи», – каторжники, что ли? И вдобавок «глубокие ценители и знатоки искусства». Какого искусства? Аверченко решил, что «блатной музыки».

Что же читать?

– Надо читать нежные стихи, – решила Оленушка. – Поэзия облагораживает.

– А я все-таки лучше прочту сценку в участке. Не так благородно, зато роднее, – сказал Аверченко.

Оленушка спорила. Она на гастролях в Западном крае читала мою «Федосью». «Ходила Федосья, калека переходящая» и т. д. (вещь очень актерами любимая и зачитанная).

– И вот, представьте себе, в антракте забежал ко мне за кулисы один старый иноверец, совсем простой, и со слезами говорил: «Милая госпожа артистка, ну прочтите же еще раз про эту Морковью».

– Ведь там же про Христа говорилось, – пламенно убеждала Оленушка, – иноверец, наверное, это было неприятно, а все-таки это его растрогало.

– Милая Оленушка, – сказала я. – Вашего «иновереца» здесь, наверное, не будет. Читайте лучше что-нибудь про аэроплан или про жареную баранину...

В сенях раздался восторженный голос Робеспьера.

Я вышла из комнаты.

Вечер. Восемь часов.

Пора отправляться на знаменитый концерт.

Как одеться? Вопрос серьезный. Думали, думали – решили надеть блузки и юбки.

– Если наденем что-нибудь понаряднее – наверное, ограбят, – сказала актриса с собачкой. – Не надо им показывать, что у нас есть приличные платья.

– Ладно.

Идти придется пешком, через ограды, пересечь полотно железной дороги, потом мимо амбаров... Дождь. Грязь хлюпает, где пожиже, и чмокает, где погуще. Впотьмах кажется, будто она кипит и шевелится.

Оленушка сразу завязла и пищит, что у нее «калоши захлебнулись».

Гуськин водит над дорогой слепым фонариком, словно кадит дождю и ночи.

Какая неуютная дорога в «Клуб просвещения и культуры».

– А на что им лучше? – говорит незнакомый голос. – Там все равно никто никогда не бывает.

Кто-то хлюпнул и чмокнул около меня. Кто-то чужой. Надо быть осторожней.

Но все-таки, если мы даже кое-как доберемся, – как же мы вылезем на эстраду с комьями грязи на ногах?

Аверченкин импресарио советует снять башмаки и чулки, идти босиком, а там уже, в клубе, попросить ведро воды, вымыть ноги и обуться. Или наоборот – идти как есть, а там, в клубе, потребовать воды, вымыть ноги и идти на эстраду босиком. Или еще лучше – выстирать в клубе чулки, а что мокрые, то ведь это будет малозаметно.

– А вы умеете стирать? – мрачно спросил чей-то голос.

Гуськин ворочал грязь своими корявыми штиблетами и молча кадил фонариком. Сверкнули босые ноги Оленушки. Я не могла решиться снять башмаки. Робеспьер проходил сегодня по этой дорожке и, пожалуй, еще где-нибудь плюнул.

– Это ваше?

Кто-то подает мне что-то круглое, черное. Что это за гадость?

– Ваша калоша... и в ней туфля.

– Гуськин! – кричу я. – Я не могу идти дальше. Я умру.

Гуськин деловито приблизился.

– Не можете? Ну, так садитесь мне на шею.

Я поняла это приглашение как аллегорическое: губите, мол, все дело, а я должен вас вывозить.

– Гуськин, я правда не могу. Смотрите, я стою, как цапля, на одной ноге... Мой башмак весь в грязи... Как же я его надену, когда, может быть, Робеспьер плюнул... Гуськин, спасите меня!

– Так я же говорю – садитесь мне на шею. Я вас понесу.

Ничего не понимаю.

– Вы такой огромный, Гуськин, мне не влезть.

– Встаньте сначала на заборчик... или вот тут кто-то небольшой, кажется, из молодежи... Можно сначала на него.

Поеду на Гуськине, как кузнец Вакула на черте?

Много раз приходилось мне в моей жизни отправляться на концерты. Ездил и в каретах, и в автомобилях, и на извозчиках, но на собственном импресарио – ни разу.

– Спасибо, Гуськин. Но уж очень вы огромный, у меня голова закружится.

Гуськин растерялся.

– Ну... хотите, наденьте мои башмаки?

Тут у меня без всякой высоты закружилась голова.

Как в минуты высшего душевного напряжения – вся минувшая жизнь острым зигзагом пронеслась перед моим внутренним взором: детство, первая любовь... война... третья



любовь... литературная слава... вторая революция и... все это увенчивается незабываемыми «штиблетами» Гуськина. В черную ночь, в глуши, в грязи – какой бесславный конец! Потому что пережить этого, вы понимаете, нельзя...

– Спасибо, Гуськин. Вы высокой души человек. Я и так дойду.

И конечно, дошла.

В закуте деревянного барака, играющей роль уборной господ артистов, пока нам оттирали башмаки газетной бумагой, мы смотрели в щелочку на нашу публику.

Барак вмещал, вероятно, человек сто. С правой стороны на подпорках и брусках висело нечто вроде не то галерки, не то просто сеновала.

В первых рядах – «генералитет и аристократия». Все в коже (я говорю, конечно, не о собственной, человеческой, а о телячьей, бараньей – словом, «революционной» коже, из которой шьются куртки и сапожищи с крагами). Многие в «пулеметах» и при оружии. На некоторых по два револьвера, словно пришли не в концерт, а на опасную военную разведку, вылазку, на схватку с врагом, превосходящим силами.

– Смотрите на эту, вон – в первом ряду, посредине... – шепчет Гуськин. – Это она.

Коренастая, коротконогая девица, с сонным лицом, плоским, сплюснутым, будто прижала его к стеклу, смотрит. Клеенчатая куртка в ломчатых складках. Клеенчатая шапка.

– Какой зверь! – с ужасом и твердым знаком шипит мне на ухо Гуськин.

«Зверь?» Не нахожу. Не понимаю. У нее ноги не достают до полу. Сама широкая. Плоское лицо тускло, точно губкой провели по нему. Ничто не задерживает внимания. И нет глаз, нет бровей, нет рта – все смазано, сплыло. Ничего «инфернального». Скучный комок. Женщины с такой внешностью ждут очереди в лечебницах для бедных, в конторах для найма прислуги. Какие сонные глаза. Почему они знакомы мне? Видела я их, видела... давно... в деревне... баба-судомойка. Да, да, вспомнила. Она всегда вызывалась помочь старичку повару, когда нужно было резать цыплят. Никто не просил – своей охотой шла, никогда не пропускала. Вот эти самые глаза, вот они, помню их...

– Ой, не смотрите же так долго, – шепчет Гуськин. – Разве можно так долго!..

Я нетерпеливо мотнула головой, и он отошел. А я смотрела.

Она медленно повернула лицо в мою сторону и, не видя меня через узкую щель кулисы, стала мутно и сонно глядеть прямо мне в глаза. Как сова, ослепленная дневным светом, чувствует глазами человеческий взгляд и всегда смотрит, не видя, прямо туда, откуда глядят на нее.

И в этом странном слиянии остановились мы обе.

Я говорила ей:

«Все знаю. Скучна безобразной скукой была твоя жизнь, „Зверь“. Никуда не ушагала бы ты на своих коротких ногах. Для трудной дороги человеческого счастья нужны ноги подлиннее... Дотянула, дотосковала лет до тридцати, а там, пожалуй, повесилась бы на каких-нибудь старых подтяжках или отравилась бы ваксой – такова песнь твоей жизни. И вот какой роскошный пир приготовила для тебя судьба! Напилась ты терпкого, теплого, человеческого вина досыта, допьяна. Хорошо! Правда? Залила свое сладострастие, болезненное и черное. И не из-за угла, тайно, похотливо и робко, а во все горло, во все свое безумие. Те, товарищи твои в кожаных куртках, с револьверами, – простые убийцы-грабители, чернь преступления. Ты им презрительно бросила подачку – шубы, кольца, деньги. Они, может быть, и слушаются, и уважают тебя именно за это бескорыстие, за „идейность“. Но я-то знаю, что за все сокровища мира не уступишь ты им свою черную, свою „черную“ работу. Ее ты оставила себе.

Не знаю, как могу смотреть на тебя и не кричать по-звериному, без слов, – не от страха, а от ужаса за тебя, за человека – „глину в руках горшечника“, слепившего судьбу твою в непознаваемый рассудком час гнева и отвращения...»

Народу набилось много. Красноармейцы, какой-то темный сброд. Женщин было мало, и большинство в солдатских шинелях. Два приземистых комиссара в кожаных куртках переглядывались и поочередно выходили из барака строгим революционным шагом и опять возвращались на место, оправляя свои «пулеметы», словно наскоро отстояли завоевания революции и снова могут приобщиться к достижениям искусства.

Наш Робеспьер почему-то притих и маячил где-то сбоку, без восторженных жестов и без свиты.

Пора начинать.

Я вернулась в «уборную господ артистов» и узнала, что все уже решено и слажено. Главное – идея самого Туськина – у нас будет конференсье, который необходим для оживления спектакля. Жалко, что не подумали об этом раньше, но, слава богу, совершенно неожиданно нас согласился выручить наш хозяин-заика.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.